

Глеб Иванович Успенский

Побирушки



Глеб Иванович Успенский
Побирушки
Серия «Очерки и
рассказы (1862–1866 гг.)»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664785

Аннотация

Очерк «Побирушки» был написан Успенским по заданию иллюстрированного журнала-альбома к акварели Е. А. Егорова «Христа ради». Безусловно, заданность темы ограничивала творческий диапазон писателя; несмотря на это, Успенский создал произведение, имеющее самостоятельный интерес и читающееся без обращения к соответствующей иллюстрации. Акварель Е. А. Егорова изображает три фигуры нищих, оборванных крестьян – старика, женщины с ребенком на руках и мальчика, просящих милостыню у окна крестьянской избы. Успенский же развернул перед читателем в первой части очерка целую галерею портретов городских «побирушек».

Содержание

I	4
II	14
Примечания	35

Глеб Иванович Успенский

Побирушки

(Очерк)

I

Только неудачи, несчастья и горе постоянны на земле, и, зная это, не нужно особенно пристальной наблюдательности, чтобы убедиться в существовании довольно большого класса людей, который, не зная, на какой труд девать свои руки, или же не умея приложить их ни к какому труду, живет изо дня в день чужой подачкою, копейкою, выработанною чужим трудом. Столичный двор, в длинной картине своих будней, столичные улицы, церкви – все это дает множество типов разных побирушек.

Только что вы успели открыть глаза в свежее летнее утро, как среди двора громко грянула музыка; весь дом всполошился; вы слышите, как по коридору мимо вашей комнаты пробежало несколько человек, поднялась повсюду суматоха; взгляните в окошко, и вы увидите, что далеко прежде вас высунулся в окна весь дом, – на дворе толпы народа: мастеровые, кухарки, бросившие свое дело, разносчики с лотками на головах и с застывшим криком на разинутом рту. А зву-

ки, стиснутые высокими стенами каменного четырехугольника-двора, гордо рвутся вверх, разливаются по окрестности и ссылают новых зрителей, которые на ваших глазах один за другим шмыгают в подворотню.

Оркестр между тем кончил какую-то пьесу; трубачи, перевернув вниз трубы, выдувают из них накопившуюся от дыхания воду, – и некоторые из музыкантов посматривают на публику, разместившуюся по окнам: очевидно, нужна подачка; об ней не говорится, потому что все эти бедняки, к большому их несчастью, люди с самолюбием, развитым данным на несчастье талантом. И это, по-моему, самые жалкие и в особенности достойные помощи бедняки.

Однако оркестр кончил; скрипачи и кларнетисты засовывают свои инструменты под полы своих сюртуков и пальто, маленькие музыканты-нищие нагружают, кроме того, на свои спины кипы нот; они несут подмышкой пюльпитры, и вслед за всей капеллой музыкантов ползет под ворота и толпа зрителей. Мастерские, с ременными ободочками на головах, подхватывают с земли своих ребят, слышны говор, смех; скоро оркестр гремит на другом дворе, и потом жизнь входит в свою обычную колею – стучат ножи, из нижних этажей валит удушливый запах цикорного кофе, поджариваемого в бесчисленном количестве, – настает мир стряпни и дела. Но внутренность двора опустела ненадолго. Если в это время, через несколько минут по уходе оркестра, разносчик не кричит: «кавры половые», то скрипит водовоз, или некоторый

человечек в подряснике из простого черного сукна, с ремненным поясом и открытой головой, звонким тенором поет на весь двор: «На построение погоревшей» и проч. Он потупил свои бойкие глаза в книгу с несколькими медяками на переплете и, медленно обходя около стен, причем старается ближе подойти под окна, неумолкаемо тянет свою всенижайшую просьбу.

– Милый человек! – возглашает, выступая из дверей нижнего этажа, персона женского пола, по всей вероятности вдова какого-нибудь фельдфебеля. – Зайди, бога ради, на малое время.

Подрясник ниже нагибает голову, что означает поклон, и заходит ко вдовице. Тут сейчас затевается самовар, – и за этой скромной, но весьма продолжительной трапезой, под неоднократно возобновляемое доливание в самовар, тянутся рассказы: какие на земле есть места чудные, и какие разные бывают чудеса, и проч. На эти разговоры стекаются разные вдовы и съемщицы, и под конец многие прослежаются. А странник скоро на другом дворе поет попрежнему: «На построение погоревшей» и проч.

– Милый человек! зайди на малое время! – раздается голос из-под крыши. И снова самовар и снова рассказы. И невидимо жидется погоревшая обитель.

Настает тишина, и опять-таки ненадолго; побирушки разных видов и наций поминутно сменяют друг друга. Входит кучка людей в каких-то рваных сюртуках, из-под которых

выглядывают ноги, обтянутые в трико. Тут же много ребят – тоже в трико; на головах у них надеты венки, состоящие из бумажного обруча, перевитого разноцветными коленкоровыми лентами. Это акробаты; они скоро раздеваются, расстилают на голых и мокрых камнях рваный ковер и начинают свой спектакль. Под музыку шарманки и бубна кувыркаются эти нищие, ломают ребят, – и вас невольно остановит и заставит задуматься судьба этого маленького существа – мальчик ли оно или девочка, неизвестно, – которого на ваших глазах какой-то геркулес, должно быть глава всей шайки и, стало быть, нищий из нищих, хватает одной рукой за пояс на спине, подымает вверх над всей толпой и заставляет дрыгать маленькими ногами и ручонками под звуки канкана. Тут рождаются уже ученые побирušки; от отца в наследство переходит вся наука попрошайничества.

Наконец на ваш карман рассчитывают полчища шарманщиков, целый день гудящих под вашими окнами разные арии и русские песни с припевом безрукого, но голосистого солдата. Если вам приходится выйти на улицу, то во всяком случае вам не придется долго остаться без того, чтобы кто-нибудь не заявил своего желания попользоваться вашим карманом. Если вам приходилось долго ходить по одной и той же улице, то вы непременно заметите, что на одном и том же месте весь день стоит какой-нибудь солдат, слепой, весь обвязанный тряпками; рядом с ним старуха, тоже в лохмотьях; один играет «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке» или

что-нибудь другое, – старуха поет. Эта картина производит неприятное впечатление. Когда бы вы ни шли мимо этой чепухи, все она в одном и том же положении: старуха что-то хрипит, старик вертит ручку сиплой шарманки и другой рукой беспрестанно водит по крыше своего инструмента, надеясь нащупать монету.

Кроме того, во всякое время дня и ночи не раз придется встретить вам некоторых персон, именующихся отставными капитанами, офицерами, воевавшими при Севастополе и проливавшими именно за вас, за ваше спокойствие свою благородную кровь.

Вздергивая своими массивными плечами и держа картуз сбоку головы, трогательнейшим голосом произносит воин свою просьбу:

– Помогите бедному, беззащитному офицеру! Подавал прошение на службу – нет местов... Жена, дети... Позвольте у вас покорнейше просить три рубли серебром.

– Не могу-с.

– Ради всего священного...

– Помилуйте, – да у меня самого теперь нету таких денег.

– Ну, сколько можете.

– Двугривенный – возьмите.

– Ах! Миллсс. дарь! Вы не понимаете всей тяжести... н-но! позвольте. Блаадаррю вас! Хотя грешно такой ничтожностью обижать человека... можно сказать...

– Делать нечего. Вы идете.

– Бог, милл...осдарь, со временем припомнит вам! – кричит особа издали. – Желаю вам испытать те чувства, которые в настоящую минуту...

Вы продолжаете идти.

– Двугривенный!.. Свинья!.. – заключает особа, понимая, что вы уж не расслышите этих слов.

В другой раз вы идете пустынной улицей. Ночь. Дорога ваша лежит как раз против какой-то части. Ни души. Стук ваших собственных шагов только и слышен кругом.

– Почтенный гасспадин! – раздается над вашим ухом.

Вы оборачиваетесь: какое-то существо мужеского пола в картузе с разодранным козырьком и в довольно прохладном костюме.

– Что вам угодно?

– Позвольте узнать, сделайте милость, где здесь первая часть?

– Вот она!

– Ах-с! Не имея пристанища, как благородный человек, хочу попросить правительство укрыть меня от ночи.

Персона эта заявляет вам причину ночевать в полиции именно потому, чтобы вы выкинули из своей головы всякую мысль о его темном существовании, о беспаспортности и проч. Если он сам идет в полицию и если он действительно беспаспортный, бродяга, – то уж там ему быть – не миновать. Стало быть, он вовсе не какой-нибудь, если не боится этого. Затем неизвестный рассказывает вам, что он пять часов то-

му назад только в Петербург приехал сюда с барином; барин ушел из гостиницы, унес с собой ключ, и он принужден скитаться кое-где.

– Ну, пойдете, я вас проведу в часть.

– Благодарю вас, милостивый государь... пойдете-те-с. Но не можете ли чем-нибудь помочь?

– Не могу ничем.

Мы идем; около самых дверей части неизвестный оставливается.

– Мил...сдарь! Я теперича опасаюсь...

– Как?

– Ну-ко барин придут – меня нету? Лучше я домой.

– Как хотите.

– Так точно, я лучше домой-с. Хоть пяти копеек нет ли у вас?

Вы даете.

Особа мгновенно юркнула в тьму, и скоро издали вы слышите такое приветствие:

– Шаромыжник! Подавись ты своим пятаком! – отчетливо произносит знакомый голос, из заискивающего превратившийся в подлый и дерзкий.

Класс *салонниц*, без сомнения принадлежащий к числу побирушек, сумел так себя поставить в чиновном быту, что, вполне проживая на счет этого бедного и постоянно нуждающегося народа, ни разу не отопрет рта для того, чтобы попросить о чем-нибудь: все дается им добродушными хозяй-

ками без просьбы, ибо эти хозяйки крайне обязаны салопницам за убитую скуку целого будничного утра, за кучу новостей, за совет, как узнавать, когда у ребят зубы начнут прорезываться, за предсказание – кто будет новорожденный: мальчик или девочка. Последние предсказания всегда сообразны с желаниями родителей.

– Страсть как я мальчиков люблю! – говорит чиновница.

– Пстой-кось, ангельская душа, – говорит ей салопница. – Я сейчас погадаю, – ты только повернись лицом к солнцу, на полдень!

Чиновница повернулась.

– Видишь ты, как оно обозначает. Дай-кось в эфтом месте пощупаю.

– Щекотно, Власьевна.

– Ну, я ведь чуток. Шевелился?

– Третёводни так-то забился!

– Гм. Ну, а Семен-то Петрович с которого боку ложится?

– С левого. Он у меня всегда под левым боком, как чурка какая, валяется.

Салопница смотрит внимательно на лицо будущей матери, не раз щупает в разных местах, причем чиновница взвизгивает от щекотки и говорит: «Как тебе не стыдно!»

– Ничего, дело женское, знаю, – все прошла.

– Ну, – кто?

– Мальчик!

– Фекла! Станови самовар! Беги в лавку: сливок... ко-

фею... Власьева, вот тебе платок ковровый! – бушует обрадованная чиновница.

Таким образом класс салопниц получает полное право гражданства в этом обществе мелких чиновных людей; это чиновные ведомости, газеты, и если бы существовали такого рода ежедневные известия для столичной мелкоты, то для того, чтобы они имели громадный расход, нужно чтобы все содержание их состояло из рассказов салопниц; дальше этих рассказней и сплетен интересы столичной и нестоличной мелкоты не идут.

Все эти шарманщики, акробаты, оркестры, бедные, но благородные люди – все это будничные типы столичной нищеты. Они постоянны, иногда только бывают некоторые вариации, но при внимательном размышлении непременно придется заключить, что это одно и то же.

Но иногда, среди столицы, в темной улице, в дождь, останавливает вас плаксивая, совершенно не похожая на столичную, просьба русского деревенского нищего:

– Батюшка! Милай ты мой! Подай, батюшка, нищенкам...

Вы оборачиваетесь и видите перед собой толпу простых деревенских побирušек: мужик, охающий, как баба, и баба, в великую, внезапно нагрянувшую беду получившая вдруг твердость, – все это в рубищах, в рвани протягивает к вам свои руки. Мальчишки и девчонки с непокрытыми головами, разиня рты и спрятав руки в глубину своих рукавов, – что-то гудят жалобное, под стать горькой просьбе своих от-

ЦОВ...

– Подайте, кормилицы! – твердят они.

– Кто вы такие?

– Мы дальние, батюшко... дальние...

– Как вы сюда попали?

– Ды так, батюшко, и попали... что дома-то делать? все одно – есть нечего. Ну вот и пошли по миру... деревня за деревней, город за городом – так и доволоклись.

– А отчего ж вы по миру-то пошли?

– Ах, милый человек, – великое тут горе случилось...

Баба начинает хныкать и рассказывает свою историю великого горя, которую я теперь и хочу передать здесь.

II

Маленькая деревенька Лемешы, в одной из южных русских губерний, только что начинала освобождаться от снега, из-под коры которого выступила темная и распаренная весенними лучами земля. Наконец против этих весенних лучей не устояли последние тоненькие слои льда и снежные залежи в оврагах, и весна зацарствовала над лесами и полями. Но для Лемешей это пришествие было нерадостно: только что лемешовский мужик Иван вышел впервые в поле с разными хозяйскими думами, как на черной и начинавшей просыхать земле он заметил крупу не крупу, а так какие-то семечки. Сердце Ивана забилося... Он помнил, что в прошлом году неслась чрез Лемешы саранча, помнил, как она в то время закрыла весь небосклон, как опустилась на лемешовскую рожь и понеслась дальше. «Не положила ли она яиц своих?» – содрогаясь, думал Иван и опрометью бросился в деревню разузнать, что это за крупа такая в самом деле. В каждой деревне есть такого рода старички, которые более или менее, сообразно своим летам, помнят историю села или деревушки. Между лемешовскими стариками были такие, которые помнили, как к ним налетела саранча, как ела и крушила она всякий посев и сколько в то время пошло по миру людей. Вот этих-то стариков и поволок мир в поле. Долго разглядывали они загадочную крупу, наконец все решили:

– Сарана! { Так называют на юге саранчу. }

Все замолкли; неотводный божий бич висел над головами всех.

– Как быть?

– Надо теперь, братики, собирать ее... да покуль она не народилась...

Общая опасность и громадность этой беды были так велики, что мир тотчас же принялся за дело, и всю саранчу, которую увидел Иван, в одно мгновение собрали в мешки и представили в волость; собрано яиц всего четыре четверика; писарю ничего не стоило в докладе начальству написать, что, при усиленных трудах его, – опасность миновалась, ибо собрано яиц саранчи до сорока четвертей; начальству ничего не стоило в свою очередь написать в донесении своему начальству, что, при усиленных мерах его, – опасность прошла, ибо собрано яиц до четырехсот четвертей. Везде мир и гладь: меры предпринимались быстрые; зло истреблено в корню – к всякое начальство довольно по горло. Мало того, оно хочет, чтоб были довольны и *там*; и действительно, скоро и *там* узнают о неимоверных усилиях всех властей к истреблению саранчи, – усилиях, приведших к самым благоприятным результатам, ибо собрано до четырех тысяч <четвертей> брошенных этим подлым существом яиц.

А между тем пашни лемешовские вопахались, прошел май и июнь, и на них уже стояла полчищем колосистая рожь. Жара была нестерпимая, целые дни собирался дождь, по

небу ходили какие-то дымно-синие тучи, вдали видны были полосы дождя, и в жаркие полдни издалека доносились раскаты грома, а по вечерам со всех концов неба вспыхивали зарницы, но дождя не было, и зной палил.

В один из таких дней лемешовский мужик, возвращавшийся из города проселком, пролегавшим чрез рожь, изумленно вытараща глаза, увидел, что весь длинный и узкий проселок словно шевелился и, как покрытый водою, блестел на солнце; но стоило только вблизи шевелящейся массы застучать телеге и лошадиному копыту, как дорога и песок обнажались снова. «Сарана!» – испуганно заключил мужик и поспешно слез с своей телеги...

Он быстро подошел к окраине ржи, присел, и перед его глазами открылась страшная картина: полчища саранчи, сотнями лепившейся около каждого колоса, шли на лемешовскую рожь и из лемешовской переползали через дорогу в соседнюю. Растерявшийся мужик не знал, что думать; позабыв про лошадь, он пошел вдоль проселка, и везде была саранча. Верста, другая, Лемеша уже в стороне, а саранча все идет, все идет, и вместе с тем, не останавливаясь, шествует вперед ополоумевший мужик. Дело страшное! Тут только пришло в голову, что сбор яиц, найденных Иваном, был вовсе недостаточен и что лень, отчасти укрепленная этим четырехчетвериковым сбором, – укрепляла естественное желание покоя и чаще заставляла говорить и думать: «авось бог помилует» и проч.

Тот же невыразимый страх, который заставил мужика окаменеть при виде саранчи, заставил его и опомниться. Бросился он к своей телеге и лошади, которые оставались далеко от того места, куда незаметно забрел мужик, и скоро Лемешки знали опять про великое горе...

Бабы заголосили; мужики шарахнулись на сходку толковать: «как быть?»

– Православные! – говорил с крыльца голова: – дело это божее – нужно, стало быть, тут осторожно...

– Чтобы не прогневить его, батюшку...

– Это верно!

– Что ж теперь делать, православные? – спрашивал опять голова.

– Как мир... – отвечали в один голос все, то есть сам же мир.

– Ну вот, стало быть, и надо миром толковать...

– Чаво толковать, коли тут головы твоей нехватает! – вдруг произнес сурово кто-то.

– Ты, Мироныч, этого не говори: над нами и так гроза висит, а ты лаешь, – это нельзя.

– Как не лаять, коли совсем пустые разговоры заводить начали. Можешь ты об этом толковать, когда ты в этом никакого рассудку не имеешь?

– Обноковенно я не могу; дело это для нас внови... И надуть сейчас старичков спросить: как они...

– Стариков, стариков, – заговорил мир...

В ожидании стариков мир молча толпился у крыльца расправы. По временам слышался шопот, и голова, присевший на лавку, иногда поправлял на лбу волоса, сдуваемые ветром.

– Эка напасть! Ах ты, господи!.. Теперь совсем пропащее дело, – слышалось иногда.

Скоро пришли старики; с полчаса стояли они молча, опершись на свои палки, и кряхтели.

– Ну что ж, как, старинушки, по-вашему-то? – в сотый раз допрашивал их голова.

– Да что по-нашему-то? По-нашему-то это дело нужно совсем бросить!

– Как так?

– Да так; потому это божеское наказание, и нам, грешным, ничего тут не сделать.

– Да оно так... только как же это, милые... есть тоже надо. По миру, что ли, пойдем?

– Господь захочет – и по миру пойдешь.

– Это, православные, – вмешался голова: – так точно он говорит, что собственно мы еще господа-то благодарить должны – вспомнил нас... рабов своих.

Доказательства к бездействию были верны, непреложны, и мужики только с крепкими думами расходились по домам, где их ждали бабьи слезы.

А саранча размножалась больше и больше. Через неделю принуждены были отслужить молебен на пашне и обойти

все посевы с крестами. Еще через неделю отслужили другой молебен и начали думать, как укрыться, – божий гнев был слишком велик. В этих мерах против несчастья горячее и прежде всех выказали себя некоторые особы из помещиков, испокон веку занимавшиеся агрономией и изучавшие русское хозяйство по немецким книжкам.

Первая мера, которая была принята лемешовским начальством, состояла в следующем: от каждого крестьянского двора потребовалось в волость по девяти аршин холста; холст был представлен немедленно, и тотчас же на каждых трех десятинах устроились из этого холста палатки. Основываясь на том, что саранча имеет слишком чуткий слух, агрономы рассуждали, что если в этих полотняных палатках вырыть ямы и посадить в тех же палатках по мальчишке с дудочкой, на которой тот посвистывал бы хоть таким образом, как подманивают перепелов, – то саранча пойдет на эту музыку, придет в палатку, попадет в яму, – а здесь музыкант и должен был прихлопнуть ее особенного рода колотушкой.

Палатки устроены, музыканты расселись в целом уезде, на каждой десятине; зудят их дудки, а во ржи шумят кузнечики, и их чириканье заглушает поход полчищ саранчи, которая кишмя-кишит здесь, точит ржаные колосья в корне и не думает идти в западню.

– Ну что, убил? – спрашивали на селе возвратившегося вечером с поля музыканта.

– Убил.

– Много?

– С полдесятка, поди, ухлопал...

– Что ж мало?

– Поди-кось ты боле наволоки в яму-то! Ну-кось ты сам в яму-то... охотою... А... небось, нос-то заворотил бы. Так и она...

– Это точно.

– То-то и есть! А то – мало! Что ты ее за волосы, что ль, в яму-то тащить станешь?

– У нее, поди, волос-то нет?

– Какие у нее волоса, когда она, можно оказать, самая подлость – животное, а то – яма! мало! на дудочке! Я ноне со скуки весь день этак-то ли важно песни играл – страсть!..

Через несколько времени другой вернувшийся музыкант тоже говорил:

– Я уж и казачка принимался играть – ничего, хоть ты тресни, – ни одна не пошла.

– Нет, милые, – говорил третий, – это дело совсем пустяк. Тут хоть сам целый день пляши – ни идола не сделаешь.

– Это верно!

Вскоре и агрономы пришли к тому убеждению, что эта затея в самом деле пустяк; через несколько времени были сняты и палатки. Бабы пришли в расправу за холстом.

– Старушки, – сказал писарь: – а бог в вас есть?

– Как же богу в христианской душе не быть – его дыхание.

– Так! Стало быть – какого же тут холста?

– Обноковенно... нашего... Поди, чай, на небо холсти-ну-то не возьмут...

– Это верно! А я-то про что же говорю?..

– А господь тебя разберет, про что. Ты по-ученому, а нам холстина обноковенно хозяйское добро.

– Опять же это вы верно говорите, – но где же я возьму холстину, которая теперича, может быть, за тридевять земель? Теперь, может, холстинку-ту вашу на войну отвезли: раны да язвы солдатские вязать... а?

Старухи молчали.

– Ведь они, солдатики-то, ваши же детища; неужто вы своих детищев без жалости безо всякой оставите?

Старухи собирались выть; писарь мучил:

– А? А вы – «холстину подай!» Где ж я ее возьму! А солдатакам и без того тошно...

– Соколик ты мо-ой!.. – завыла одна баба; другие подносили к глазам свои фартуки. А писарь мучил:

– Нехорошо... Нехорошо, старушки; бог не полюбит за это. Сейчас умереть, – очень ему будет это неприятно.

И рыдающие старухи разбрелись по дворам; вслед им писарь добавлял:

– Очень вредно, божии старушки, поступать так... На том свете – как за это! Престостоко за это на том свете будет! Не хвалю – истинно не хвалю! Холстина! Ах вы, прорвы!.. – заключил писарь, входя в сени расправы.

Агрономы скоро действительно пришли к тому заключе-

нию, что необходимо озаботиться насчет новых мер. Многомудрые соображения их скоро разрешились тем, что необходимо по ночам устраивать костры, располагая их на проселочных дорогах; без всякого сомнения, саранча придет на огонь и потом, тоже без малейшего сомнения, сжарится здесь. Расчет был бы верен, если бы оправдались надежды агрономов относительно рассудительности саранчи: что лучше ей не беспокоить начальство, а прямо самой залечь на костры, – так как она должна же понимать, что сама в этом горе виновата кругом.

На костры потребовался хворост и валежник. Нужно было просить у лесничего разрешения взять этот продукт, – началась бы возня, переписки, дело потянулось бы чорт знает сколько времени, – и поэтому сами мужики решились пожертвовать своими плетнями. Костры запылали, но, к величайшему удивлению, ни один субъект из саранчи не подступал к этой добровольной плахе, – напротив, говор ребят, разместившихся около костров, и треск сучьев отогнали саранчу далеко от огня; во ржи чувствовался усиленный шум, потому что саранча опрометью бросилась в противоположную от огня сторону.

Таким образом, и эта мера не удалась. Агрономы порешили положиться на власть божью, отслужить опять молебен и послать за советом к начальству, так как усиленная помощь была необходима, ибо еще немного – и саранча должна была тронуться с места: в то время она начинала окрыляться и

недели через две непременно должна была получить способность летать. В этот момент от корня колосьев она поднималась на самые колосья, и в одни сутки на множестве десятин ржи оставалась только солома: все зерна бывали съеданы дотла. Между тем бумага получила начальством. Тотчас же было поручено чиновнику ехать на место, где саранча, и донести об этом деле во всех тонкостях.

В одно из воскресений, рано утром, по дороге к губернскому городу скакала тройка чахлах обывательских лошадей, на средней из которых подпрыгивал мальчишка в белой свитенке, дырявых лаптях и в белой же, наподобие черепенника, шапке. Лошади неслись во всю прыть, сзади тройки взвивались клубы пыли, и веревки, составлявшие убогую лошадиную сбрую, вились в воздухе. Мальчишка потому так гнал своих кляч, что писарь при отправке как-то особенно напирал на слово «немедленно», да, кроме того, в сумке, которая была надета у мальчишки через плечо, лежал конверт с припечатанным к нему гусиным пером. Это еще более заставляло мальчишку гнать лошадей, и вследствие этой гоньбы сломя голову деревенские обыватели скоро увидели перед собой город.

Чиновник, назначенный для поездки на саранчу, торопился не менее мужика, потому что и у него в бумаге было «немедленно». Он наскоро завернул к обедне, – и то к самому выходу, – положил два-три земных поклона и вместе с прочими богомольцами направился к выходу.

– Прощайте, Петр Прокофьевич, – говорил чиновник: – еду!

– Куда это?

– На саранчу.

– Надолго?

– Да как вам сказать? Недели на две...

– Гм. На две! А что я хотел вас попросить: возьмите моего Костю?

– Извольте, – отчего же-с.

– Право! Мальчишка он любопытный, это ему будет очень занимательно.

– Извольте. Так вы уж собирайте Костю-то... Я заеду... часа в два...

– Ладно.

К двум часам Костя был совершенно готов; но чиновник не являлся: ему нужно было зайти проститься в два-три дома, ибо и у него тоже были царицы его сердца и проч.

– Прощайте, Марья Васильевна, – говорил чиновник.

– Пишите! – говорила плаксиво барышня.

– О! Я буду писать... каждое мгновение... каждую минуту. Но будете ли вы помнить обо мне?

– Несносный! – сказала барышня: – для чего ты еще мучишь меня!

– О женщины! – хватив ладонью по лбу, заключил чиновник.

Чиновник был растроган. В эту минуту он ясно понимал,

что «Ехал казак за Дунай» и «Прощаюсь, ангел мой, с тобою» – вещи вовсе не достойные посмеяния.

Часа в четыре он был дома.

Он поспешно принялся есть и во время еды погонял всех и вся, чтобы торопились укладывать в тарантас разные погребцы и проч. Часам к шести все это было готово. Чиновник был в легком белом пальто, на пуговице которого болтался кисет с табаком... Этим, однако, еще не вполне обеспечивался выезд из города. Нужно было заехать за Костей, который в это время был совершенно готов, постоянно толкался на крыльце, постоянно выбегал на угол, чтобы посмотреть: «не едут ли?» Отец Кости спал, и когда, наконец, в седьмом часу подъехал тарантас, Костя опрометью бросился будить его.

– Что?

– Приехали!

Пока отец вставал, чиновник ходил по залу, поправляя виски. Наконец хозяин вышел.

– А! Готовы... Я сейчас: надо на дорожку посошок... – произнес он и скрылся опять.

– Федор, – поспешно и топотом говорил он кучеру в сенях: – беги, – бутылку донского:.. Проворней!

– Да зачем это вы, право? – во всю глотку орал в зале чиновник, желая, чтобы его слышали.

– Живей, живей!

Принесена была бутылка, через час другая, через полчаса

– графин водки.

– Я все делаю; я страдаю. Я мучусь... – говорил один из подгулявших чиновников.

– За что они меня тиранят? Я руку вывихнул на следствии – этого мало?

Чиновники говорили такими жалкими голосами, что у непривычного человека сердце разорвалось бы, на части.

– Скоро ли? – твердил Костя.

– Счас, счас! – нетвердо владея языком, говорил чиновник.

– Лошади готовы... устали.

– Счас, милушка... Иди сюда... – Чиновник хватал Костю за шею, тащил к себе и потом целовал мокрыми и слизистыми губами, так что Костя после поцелуя принужден был обтирать рот рукавом.

А у тарантаса в это время происходили такие сцены. Няньки вытащили ребят, сажали их на подушки, причем, держа подмышки, заставляли слегка подскакивать, приговаривая:

– Вот поехали, вот поехали...

Дети захлебывались от радости.

– Меня... меня... – пищала девочка, протягивая с тротуара руки.

– Погоди, и тебя... Ты сколько ехала; Ванечку: только посадили, опять тебя?.. Ишь завидущие глаза... – строго сказала нянька.

Девочка поднесла к глазам кулаки и залилась, а за ней заревели и все ребятишки.

Нянька расставила руки, присела и сказала:

– Слава богу!.. Дождались! Вот папенька услышит, он вас... плаксы... высекут как...

– Что такое? Кто? Передеру всех!.. – раздался голос папеньки, высунувшегося в окно.

Ребятишки утихли...

Часов в десять вечера, наконец, уселись все.

– Ты ел? – от нечего делать спросил мальчишку чиновник, весь налившись, как рак, и с трудом всползая со дна тарантаса на подушку.

– Никак нет...

– Трогай!

Уехали. Выехав в поле, чиновник сразу почувствовал потребность спасти отечество: именно в это время с особенною настойчивостию шумела у него фраза: «немедленно», и он с особенною ревностью кричал: «пашел!», но препятствия попадались попрежнему на каждом шагу. Только что они отъехали несколько верст от города и проезжали посредине небольшого подгородного сельца, как на дороге попался здешний священник: тары да бары – начались разговоры.

– А то чашечку чайку выпьем? – сказал священник.

– Разве одну... – согласился чиновник.

Заехали. Выпили и чайку и водочки и, стало быть, разговорились еще душевнее. Прощанье совершалось долго; сна-

чала прощались в зале, потом в передней, потом на крыльце – и везде по крайней мере по часу. Наконец-таки тронулись. А между тем ночь была безлунная, и тьма кругом царствовала кромешная. Тарантас подвигался медленно; истомленные дневным стоянием на жаре, лошади плохо двигались вперед, колеса иногда не попадали в колею, и тарантас ехал боком, – чиновник злился.

Наконец дорога уперлась в какую-то лужу непроходимую, – чиновник вылез и приказал ямщику проехать с пустым тарантасом, чтоб не утонуть неравно. Тарантас зашумел колесами и скрылся во тьме: слышалось только хлясканье, и наконец лошади вернулись – переехали. До сборни, где должно было переменить лошадей, было всего верст пять, и эти пять верст ехали наши путники по крайней мере пять же часов; наконец въехали-таки в село. Тишина была мертвая, спали даже собаки и не лаяли по этому случаю. На улицах, черневших плетнями и непроходимую раскислую грязью от вчерашнего дождя, царствовала топь. Наконец добрались до сборни. Ямщик слез и принялся ногой дубасить в дверь. Понесся какой-то глухой голос, и на дворе залаяли собаки. Ямщик продолжал колотить; наконец во тьме вытянулась какая-то длинная фигура в белой рубашке.

– Ты десятский?

– Так точно, десятский.

– Проведи к батюшке.

Десятский без шапки забрался на козлы.

В доме батюшки все спали, и удары десятского в ворота не получили никакого ответа, только собаки страшными ба-сами голосили на весь двор.

– Ах, собаки страшные! – сказал десятский.

– Толкуй! – оборвал его чиновник.

Десятский, видя, что без особенных стараний горю не пособишь, стал одной ногой на оглоблю, потом взобрался на дугу, с дуги на ворота, перелез через верх, и с улицы было слышно, как в топкую грязь плюхнули его лапти.

Скоро приезд чиновника всполошил весь двор; священник был очень рад гостям, бегал, суетился, торопил с самоваром и проч. Между разными разговорами шли толки и о саранче.

– Что, не слыхали ли про Лемеша чего? – спрашивал чиновник.

– Как не слышать!

– Что же?

– Да там какую-то новую штуку изобрели.

– Какую же?

– А что-то такое вроде колотушки. Барин наш нарочно ездил – в случае, чего боже сохрани, вдруг у нас то же несчастье, так чтобы как-нибудь запасться преждевременно мерами-то...

– Да, да... Ну, так какая же колотушка-то?

– А видите ли: это палка такая, а на конце ее доска, так что палка-то втыкается в середину доски, и с этим орудием

мужик должен ходить за саранчой: как увидит ее где кучу – так и должен прихлопнуть на месте.

Но сообщив это, священник, вместе с тем, сообщил некоторые мнения старожилков по этому поводу: во-первых, говорил он, колотушка эта неудобна потому, что она не раздавит, а только вдавит насекомое в землю, после чего оно всегда может выбраться оттуда и путешествовать дальше, а во-вторых, потому неудобен выше изображенный снаряд, что саранча боится всякого шороха и ваши шаги слышит бог знает за сколько расстояния, – следовательно, вам никогда не придется догнать ее, потому что о своем приближении вы напомните шуршаньем ног в колосьях и проч.

Разговоры эти тянулись долго за полночь, и поэтому на другой день чиновник проснулся очень поздно. Начались закуски, проводы, и в путь можно было двинуться только в два часа. Через два дня после таких путешествий, поминутно прерывавшихся разными посещениями помещиков и проч., путники наши кое-как добрались до Лемешей. День был жаркий, и в деревне не было ни одной души. Словно вымер или ушел куда-нибудь весь народ; даже на улицах не было заметно ничьих следов; ветер, слегка подувавший по временам, замел песком колеи от проехавших колес и следы прохожих.

Чиновник пробрался в сборню; заглянул в одну половину – пусто, заглянул в другую – на лавке сидела старуха, положив на колени руку, завернутую во множество разных тря-

пок.

– Где десятский?

– Нету, милай, десятского.

– Как нету?

– На сарану все пошли... сарану бить...

– Все-таки кто-нибудь из мужиков есть?

– Никого нету... Сыну маму очередь ноне... Ну, только все они пошли на сарану, я за сына села караулить.

– Кого ж ты караулишь?

– Бог е знает...

Чиновник приказал ехать в поле. Несколько времени на дороге не попадалось ни одного живого существа; наконец вдали, изо ржи показалась одна голова, потом скоро выглянул целый ряд мужчин и женщин. Все они стояли длинной шеренгой, все были вооружены метлами, которыми слегка шумели по ржи, осторожно подвигаясь вперед и по уходе оставляя несколько пригнутые к земле колосья.

При виде чиновника всякий говор замолк. Один из мужиков, командовавших делом, первый снял шапку, – это был писарь.

– Что, братцы, как? – спросил чиновник.

– Теперь, слава богу, благополучно.

– Как?

– Гоним... Бежит очень шибко, потому шуму боится... Вот теперь изволите пройти вперед – долго не увидите ее... Очень далеко ушла...

– Куда же вы гоните ее?

– А в Махровский уезд; тут в двух верстах граница, – к вечеру, поди, выгоним всю...

– И тоже в рожь?

– Тоже; что делать-то?..

– Так ведь она и там есть рожь начнет.

– Что же-с... Пущай...

Чиновник был озадачен: спасти себя верной гибелью других – было не слишком добросовестным делом, тем более, что уезд Махровский был одной и той же губернии; дело неладное.

– Как же там-то?

– А там как знают... Мы донесем, что ушла... Бывают такие случаи – уходит.

Чиновник думал-думал и со вздохом пришел к тому заключению, что донести со слов писаря можно и что в этом случае от начальства за быстроту действий перепадет что-нибудь вроде признательности...

– Ну, как знаете... – проговорил он и тронулся назад в село.

К вечеру лемешовцы начали подвигаться к границе Махровского уезда. От ходьбы и усталости некоторые останавливались и пили воду из круглых кувшинов с узеньким отверстием, другие затягивали песни, говор слышался веселее и шумнее, и когда вся саранча действительно перебежала за границу, – песни загуляли на селе целую ночь; народ

был счастлив, к начальству неслось донесение с известиями о разных усиленных мерах и проч. Отслужен был еще один молебен, и настал покой.

Но покой этот продолжался недолго: в одно утро лемешовцы увидели опять саранчу, увеличившуюся в страшных размерах; черным покровом покрывала она всю рожь, всю дорогу и даже соломенные крыши домов. Ее было такое множество, что когда пробовали пугать ее шумом, убегавшая шеренга принуждена была шествовать по головам своих братьев, – такая была теснота. Произошло это самым простым образом. Жители Акуловой, небольшой деревеньки Махровского уезда, наделенные саранчой из соседней губернии, приняли те же меры, что и лемешовцы, то есть точно так же озаботились только перегонкою в другое место, и в то время, когда лемешовцы заливались горючими слезами, махровские власти слали в палату бумагу об усиленных мерах и служили молебен.

Через несколько времени не было видно ни одного колоса: саранча съела все, положила яйца и черной непроглядной тучей поднялась с своей опустошенной квартиры. Густота поднявшейся тучи была так велика, что солнечные лучи не проникали через нее. На народ напал ужас и панический страх – ждали последнего дня.

После лютой и голодной зимы настало голодное лето. Саранча отроилась во множестве и размножалась на целые уезды. Из палаты отнесли в гимназию за советами у ученого

мира насчет избавления от беды. Учитель естественной истории написал записку и решил, что крестьяне должны принимать меры к разведению каких-то еще других насекомых, которые должны были есть не рожь, а саранчу. Успех был бы несомненным не ранее как по истечении трехсот лет. Но помощь нужна была теперь, в эту минуту. Ее не было, и понятно, что настал голод – весь запас хлебных магазинов был истощен в прошлую зиму.

* * *

И пошли по миру толпы побирушек. Город за городом, деревня за деревней, дальше да больше, как говорят мужички, – и добрались до Питера...

В другой раз я расскажу судьбу этих деревенских побирушек в столице – историю, основанную на положительных фактах, а в настоящее время только прибавлю, что простой крестьянский ум в последнее время изобрел оборону против саранчи, выкапывая на границах своей и чужой ржи – каналы, шумом и шорохом сгонял туда врага своего и засыпал землю, придавливая ее потом ногами.

Примечания

Печатается по журнальному тексту: «Северное сияние. Русский художественный альбом», издание В. Е. Генкеля, 1864, т. III (подпись – псевдоним: Г. Брызгин). При жизни писателя очерк не перепечатывался.

Очерк «Побирушки» был написан Успенским по заданию иллюстрированного журнала-альбома к акварели Е. А. Егорова «Христа ради». Безусловно, заданность темы ограничивала творческий диапазон писателя; несмотря на это, Успенский создал произведение, имеющее самостоятельный интерес и читающееся без обращения к соответствующей иллюстрации. Акварель Е. А. Егорова изображает три фигуры нищих, оборванных крестьян – старика, женщины с ребенком на руках и мальчика, просящих милостыню у окна крестьянской избы. Успенский же развернул перед читателем в первой части очерка целую галерею портретов городских «побирушек». Вторая часть произведения представляет собой самостоятельный рассказ о нашествии саранчи – великом горе целой деревни, которая вся «пошла по миру» с голоду. Успенский резко сатирически показывает здесь бездушное отношение правительственного чиновничества к народному бедствию, невежественную тупость агрономов-помещиков в борьбе с саранчой и алчность писарей, пользующихся случаем обобрать крестьян до нитки. Знаменательными являются

слова автора о том, что «простой крестьянский ум» с отчаяния сам изобрел оборону против саранчи на опыте тяжелой и одинокой борьбы со стихийным несчастьем.